

Алексей ГРИГОРЕНКО



КОСТЬ РАЗДОРА
МАЈОРОССИЙСКИЕ ХРОНИКИ
1594 - 1595

Алексей Григоренко

**Кость раздора. Малороссийские
хроники. 1594-1595 годы**

«Издательство АСТ»

2024

Григоренко А. Н.

Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы /
А. Н. Григоренко — «Издательство АСТ», 2024

ISBN 978-5-17-173211-0

Действие романа происходит на территории Руси-Украины в XVI веке, когда она была частью государства Речь Посполитая. Русские православные епископы, запятнавшие себя всяческими моральными и уголовными преступлениями, решили податься под покровительство римского папы и тем самым снискать признательность польского короля Сигизмунда. Православный народ во главе с запорожскими козаками решительно противодействует этому вооруженной рукой. Разгорается гражданская война, перипетии которой и описываются в романе. Повествование ведется с 3-х разных ракурсов – глазами гетмана и атамана, одного из главных руководителей восстания Павла (Северина) Наливайко, бурсака Арсенка Осьмачки, по воле судьбы оказавшегося в повстанческой войске, и пана Струся, старосты города Брацлава. Духовный конфликт между героями усугубляется еще тем, что Струсь – русин по происхождению, но католик по вере. Каждый из них по-своему осмысляет феномен, причины и горькие последствия религиозной войны, в которую превратилось восстание. По сути своей описываемые события стали началом конца Речи Посполитой как государства.

ISBN 978-5-17-173211-0

© Григоренко А. Н., 2024
© Издательство АСТ, 2024

Содержание

Историческое молчание	6
1. Черная рада, Чигирин, 1594	12
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Алексей Григоренко
Кость раздора. Малороссийские
хроники. 1594–1595 годы

Девиз: Ничего не происходит с человеком случайно.



© Алексей Григоренко, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

Историческое молчание

Предуведомление автора

Пантелеймон Кулиш в книге «История воссоединения Руси» подводит довольно горький итог, рассуждая о начальных козацких войнах в Речи Посполитой, приведших через полвека к частичному краху как самого государства – утрате Малороссии, так и к окончательному исчезновению Польши с политической карты тогдашнего мира – в результате трех разделов восемнадцатого столетия: *«Два только источника существуют для истории второго козацкого восстания (1-е – под предводительством гетмана Криштофа-Федора Косинского, 1593 г. – А. Г.), Гейденштейн и Бельский, да и те во многом противоречат один другому. При том же оба эти источника суть свидетельства стороны противной, и потому мы не имеем никакой возможности исполнить правило: audiatur et altera pars. Вообще, это важная потеря для русской истории, что украинские козаки, эти главные деятели торжества Руси над Польшею, оставили по себе так мало памятников своей деятельности. Кровь их пролилась как вода на землю и не оставила даже пятна по себе. Энергический дух их отошел в вечность, не заградивши уст хулителям своим; а их потомки лишены утешения слышать посмертное слово предков, каково оно ни было. И вот мы разворачиваем чуждые сказания о нашем былом и устами исторических врагов своих поведаем миру понимаемые до сих пор двусмысленно, сбивчиво, часто крайне нелепо дела героев равноправности»* (Кулиш П. А. История воссоединения Руси, т. 2, с. 117. СПб, 1874).

Пожинаем же эти плоды исторического молчания народа: даже само имя собственное героя нашего повествования, гетмана и предводителя 2-й козацкой войны Наливайко, текуче, непостоянно и вариативно. Так, в трудах и первоначальных изысканиях знаменитых историков XIX века имеем такую картину:

анонимная «История русов», приписываемая архиепископу могилевскому Георгию Конисскому, и Николай Маркевич называют нашего героя – Павло;

Владимир Антонович и Николай Костомаров – Семерый;

Боркулабовская летопись – Севериня;

тот же Пантелеймон Кулиш – Семен;

другие источники, включая Википедию, соцписателей вроде Ивана Ле и марксистских историков уже несуществующего СССР, – Семерин, Северин и даже Северий (вполне на древнеримский манер – если сделать ударение на 2-м слоге).

Так как же все-таки звали нашего героя?

Ответом будет все то же молчание.

Я писал не историческое исследование, но роман, потому из всех вариантов избрал имя героя согласно анонимной «Истории русов», с опубликования которой в начале XIX столетия и началось заинтересованное изучение образованным обществом далеких исторических событий Малороссии, давным-давно к этому времени интегрированной в процесс общерусской истории, общерусской политики и общерусской культуры. Потомки отважных воителей за свободу, правду и святоотеческую веру, о которых и рассказывается на этих страницах, стали мирными «гречкосеями» и мелкопоместным малороссийским дворянством со своим благодушным, зачастую химерным мирком, вошедшим в русскую литературу тцанием Н. В. Гоголя, предки которого – Лизогубы и Гоголи – тоже в свою очередь были отважными и заметными фигурами в давней военной истории края.

Николай Васильевич не устоял перед искушением составить всеобъемлющий исторический свод: *«Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых, или в четырех больших томах»* (письмо к М. Максимовичу от 12 февраля 1834 года.

Такая самонадеянность и безоглядность, вероятно, свойственна только лишь юности – Гоголю 25 лет), но уже к 6 марта того же года, то есть всего через 24 дня, наступает отрезвление: писатель столкнулся все с тем же историческим молчанием – практически полным отсутствием достоверных материалов, о чем он сообщает в письме И. И. Срезневскому, и – отступил... *«Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого неволью (если бы он даже был недейтелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ... (Тут Гоголь отчего-то прервал свою мысль, – но мы сегодня, через без малого 200 лет, можем поразмыслить все же о том, о чем в некоей печали и разочаровании не договаривает писатель. – А. Г.) Я не доволен польскими историками, они очень мало говорят об этих подвигах; впрочем, они могли знать хорошо только со времени униш, но и там ни одного летописца с нечерствою душою, мыслями. Если бы крымцы и турки имели литературу, я бы был уверен, что ни одного самостоятельного тогда народа в Европе не была бы так интересна история, как козаков. И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начинавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибывшего замок к своей конюшне, когда лошади были уже украдены...»*

Так и неосуществленный шеститомник (или четырехтомник) преобразовался в «Отрывок из истории Малороссии» и в статьи «О малороссийских песнях» и «Взгляд на составление Малороссии», вошедшие в сборник «Арабески», ну и, конечно же, в бессмертную повесть «Тарас Бульба».

У Гоголя – оставались исторические и героические песни, туманные свидетельства, больше похожие на мифы и апокрифы, полученные из третьих-четвертых воспоминаний по восходящей от долгожителей козацких родов Гетманщины, которым прадеды что-то такое рассказывали, пока они сидели мальчонками под столами в крестьянских хатах. Что же имеем мы, насельники XXI века, кроме печальных известий о том, что сегодня происходит на Украине?..

Отступить ли и нам, как некогда отступил Гоголь? Или все же попытаться преобразовать художественной догадкой, метафизическим прозрением это историческое молчание, эти жалкие крохи известий, обрывков и лоскутов «чуждых» и «вялых» летописей, в которых высвертками, на сущее мгновение, появляются зачастую исполинские фигуры нашей безъязыкой истории, мужественные лица людей, каковых больше нет и, вероятно, больше не будет, которые в неустрашимом дерзании и безоглядности закладывали основы нашей противоречивой, драматичной и зачастую трагичной истории, которая до сей поры происходит с каждым из нас. Но все начиналось – с молчания и мглы канувших, прошедших веков. Нам уже не услышать тех песен, которые так любезны были сердцам Гоголя и Максимовича, но мы все же – дерзаем *«понудить себя на художество»* – по слову древнерусского северного святого преподобного Кирилла Челмогорского, – ибо другого выбора у нас нет.

В своей многолетней работе над текстом я использовал все доступные мне источники, хроники и поминания, как русские (под этим именем я разумею триединый по моему убеждению народ – в сегодняшней терминологии: русских, украинцев и белорусов, в терминологии же описываемой эпохи конца XVI столетия – московитов, русинов и литву), так и польские, но и в совокупности достоверный исторический материал весьма скуден, потому более всего я полагался на свою историческую интуицию, за возможные переборы и сгущения которой я заранее прошу прощения у читателя. Но в целом – даже не Павло (Северин) Наливайко является главным героем повествования, но то эпохальное событие конца XVI столетия, до основания потрясшее все общество Речи Посполитой, включая и поляков-католиков, расколовшее на более чем четыре столетия украинский народ и принесшее неисчислимые беды – Брестская

уния 1596 года, названная полемистами XVII столетия настоящей *костью раздора*, разорвавшая единое до того духовное средостение народа Юго-Западной Руси, который позже назывался черкасами (по наименованию крепости на Днепре), козацким народом, русинами, малороссами и затем уже украинцами.

Развитие этой темы, быть может, с некоторым публицистическим заострением читатель найдет в примечаниях, разбросанных в тексте. Там же помещена и достоверная краткая информация об исторических деятелях, упомянутых на страницах романа, и отчасти о последующих событиях, произошедших уже за хронологическими границами этого повествования.

Отдельно надобно сказать о «Записках Арсенка Осьмачки», ставших неотъемлемой частью наших «Хроник». Они были обнаружены мною в древлехранилище Свято-Успенской Почаевской лавры в середине 1990-х годов и требуют нескольких пояснительных слов для сегодняшнего читателя. Волею судьбы и сложившихся обстоятельств киевский бурсак конца XVI столетия, отягощенный схоластическим богословием и обрывками разнообразных познаний, не свершил свой жизненный путь, как тысячи его однокашников, затерявшихся в бескрайних просторах и бесчисленных селах Юго-Западной Руси, сегодня называемой Украиной, где они научали грамоте козацких и селянских детей, сочиняли драматические и комедийные тексты для вертепных театров, колядки и песни, ставшие со временем основой «красного виршевания» и «красного письма», то есть будущей литературы этого обширного и благодатного края. Некоторые из однокашников Арсенка стали со временем епископами и были призваны на служение российскими императорами, а прежде царями, на внутренние российские кафедры – в Архангельск, в Тобольск, в Ростов, где лучшие из них просияли чудесами и святостью и до сей поры почитаемы в общерусском сонме святых.

Кто не знает великих имен святителей Димитрия Ростовского, Иоанна Тобольского, Иоасафа Белгородского, – а ведь они вышли из тех же стен малороссийских бурс-семинарий, что и наш летописец Арсенко Осьмачка, – только он опередил их на столетие, и Промыслом Божиим ему было суждено другое свидетельство, которое ныне развернуто перед благосклонным читателем.

Тютчев сказал: *«Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые»* – в случае с нашим героем, а его «Записки» начинаются с 1593 года и завершаются 1635 годом, это были во всем судьбоносные времена для Юго-Западной Руси-Украины – усиление католического прозелитизма над православными землями, массовый переход в католичество русских и литовских дворянских родов; сползание почти всех тогдашних русских епископов к мысли о подчинении Римскому престолу, посредством которого, как им казалось, Юго-Западная Русь *«войдет в семью европейских народов»*, – как говорится теперь, а тогда благая покорность Риму мыслилась избавлением от бесконечных притеснений со стороны оголтелого короля, ставшего игрушкой в умелых руках ордена иезуитов, и правительства, закончившееся печальной Брестской унией 1596 года; противостояние козачества и простого посполства колебанию епископов и окончательному закабалению панством, вылившееся в две первые козацкие войны, – во второй из них наш Арсенко Осьмачка принимает деятельное участие вплоть до трагического и страшного разгрома повстанцев в Солоницком урочище над Сулой, недалеко от Днепра. Принимает он и косвенное участие в событиях и итогах церковного собора в Бресте осенью 1596 года, оформившего окончательно унию с Римом и подчинившего на четыре века часть Русской церкви под папскую туфлю; участвует в походе козацких отрядов в составе армии короля Сигизмунда III Вазы в Московию уже во времена Смуты российской, – мы находим его в осаде под стенами Троице-Сергиевской лавры, в осаде Переславля, он грабит с козаками и польскими жолнерами древний Ростов; затем, когда Смута в Москве завершилась, он принимает некое участие, по крайней мере как пристальный самовидец, в возобновлении иерархии Православной церкви гетманом Петром Конашевичем Сагайдачным и Иерусалимским патриархом Феофаном, и о том оставляет интересные заметки и записи в одном из своих письмовников...

В 1635 году мы находим его в иноческой келье Никольского Самарского пустынножительного войскового монастыря, построенного запорожскими козаками для престарелых сечевиков, где старики, уцелевшие по воле судьбы в прежних походах и войнах, замаливали прегрешения своей молодости, а наш Арсенко систематизировал и продолжал письмом то, чему он некогда был самовидцем. Наш летописатель не дожил, по всей видимости, до Хмельниччины – Великой козацкой войны 1648–1654 годов, в корне изменившей геополитическую обстановку в тогдашней Европе и на века соединившей в единое государство Юго-Западную и Северо-Восточную Русь, Малую и Великую Россию, но и того, чему он стал свидетелем, много для жизни одного человека.

Конечно, я до сего дня не разобрал еще полностью десятков письмовников и разрозненных тетрадей, попавших в мои руки в Почаеве в 1990-е годы, – многие из них безжалостно объедены сотнями, а может быть, и тысячами поколений мышей, что-то размокало и не раз высыхало, превращая древнюю бумагу в сущие пепел и прах, какие-то крупные фрагменты и вовсе выпали из груд трухлявой бумаги, в самой «Хронике Луцкой», часть из которой я расшифровал к этому времени, вообще зияет обугленная дыра от *«злой пули жолнерской»*. Эта «Хроника» спасла Арсенка от смерти в Солоницком урочище в начале лета 1596 года и дала ему лишних 40 лет жизни, как пишет сам автор о том... Вторая часть «Хроники Луцкой» мною еще не разобрана и не расшифрована, но надеюсь все-таки в свой срок ее завершить, – там рассказано о событиях, произошедших с нашим героем уже после 1596-го злосчастливого года.

Интересна и загадочна судьба самих этих «Записок». И здесь не обойтись без краткого рассказа о драматичной во многом судьбе монастыря, где была обретена эта рукопись. Самарский Николаевский пустынножительный монастырь основан запорожскими козаками как богадельня для престарелых сечевиков в 1576 году, неоднократно дотла и до основания его разрушали – во время хмельниччины – русско-польской войны в 1650-х годах; затем – в 1688 году; в 1690 году монастырь постигло очередное несчастье: почти все насельники и большая часть жителей монастырской слободы погибли от эпидемии, после которой монастырское имущество, в том числе и архив, были уничтожены.

Но рукопись Арсенка Осьмачки уцелела тогда, будучи предусмотрительно закопанной, по всей вероятности, им же самим в подклете деревянного храма Кирика и Иулиты – храм этот ныне не существует. В 1709 году в очередной раз монастырь был разрушен из-за гетмана Ивана Мазепы во время русско-шведской войны – изменника поддержали запорожские козаки. В 1711 году монастырь уже был разрушен татарами. К 1739 году монастырь был полностью обновлен и вернул себе значение религиозного центра запорожских земель, или *вольностей*, в терминологии той эпохи – при монастыре существовали школы и больницы, а численность крестьян и вотчинников достигала 500 человек. Монастырю принадлежали слобода Черненная, четыре хутора, озеро Соленое и речка Протовча, мельницы и пасеки, в общей сложности 18 698 десятин земли.

В Самарской обители принимали постриг, умерли и были похоронены многие запорожские старшины: кошевой атаман Филипп Федоров, войсковой толмач Иван Швыдкий, войсковой писарь Дмитрий Романовский, войсковой судья Моисей Сухой и другие. Где-то в безымянной забытой могиле здесь пребывают и кости автора этих «Записок». За колокол весом в 169 пудов 22 фунта, приобретенный в XVIII веке, запорожские козаки выложили огромную по тем временам сумму – 8320 рублей 90 копеек, колокольня же, возведенная в 1828 году, считалась самой высокой на Украине. Долгое время в монастыре сохранялись главная святыня монастыря – чудотворная Ахтырская икона Божией Матери и чтимая икона святителя Николая, патрона и покровителя обители, и четыре запорожских креста. Сегодня судьба этих реликвий неизвестна.

В 1930 году колокольню взорвали, братию выселили и расстреляли, Никольский собор перестроили под театральный зал, сам монастырь обратили в дом инвалидов. После войны

обком партии Днепропетровска принял решение организовать здесь дом для престарелых металлургов. Дом-богадельня обзавелся большим хозяйством, и началось строительство разных пристроек в стиле «сталинского ампира», при этом весьма пострадали прежние монастырские постройки. Во время строительства и добыли на свет Божий замшелый проржавевший сундук, набитый истлевшими бумагами. Так как запорожского золота в сундуке не нашли, хотели было содержимое его сжечь ясным коммунистическим пламенем, да в последний момент решили отправить в исторический музей Днепропетровска, носящий имя историка Дмитрия Яворницкого, который оставил потомкам фундаментальное трехтомное исследование «История запорожских козаков». В 1960-е годы в монастыре устроили интернат для психически больных девочек. С 1994 года здесь возобновилась монашеская и церковная жизнь.

Нельзя сказать, что к разбору рукописей Арсенка Осьмачки никто не приступал, но у одних исследователей не хватало квалификации, других бдительные надзорные органы отстраняли на всякий случай из-за подозрения в украинском национализме, в конце концов в 1970-е годы так и не разобранные рукописи Арсенка Осьмачки из музея ввиду реорганизации залов под диораму «Битва за Днепр» и последующего перепрофилирования под мемориал Л. И. Брежнева, днепропетровского партийного бонзы в 1930-х годах, а потом генсека и четырехкратного Героя несуществующего уже СССР, были переданы в Почаев, но и в тамошней лавре некому было разбирать и рассортировывать эти груды слипшихся и истлевших листов, где они пролежали в забвении еще 20 лет. В начале 1990-х годов, когда я впервые приехал в Почаев для участия в Почаевской международной религиозной конференции, собранной тщанием Георгия Шевкунова (ныне митрополит Псковский и Порховский Тихон), для противостояния унитарской агрессии на Западной Украине, монахи, прознав о том, что я составляю некий свод под общим названием «Малороссийские хроники», предложили мне попробовать разобрать этот архив и хоть что-то оттуда использовать. Выражаю им особенную признательность.

Сделаю и несколько замечаний по стилю «Записок». Понятно, что мне пришлось их практически переводить со старорусского на современный язык. Бурсацкая и схоластическая закуска лексики хрониста и виршетворца конца XVI столетия, нагромождение латинских, церковно-славянских и польских выражений и слов порою зашкаливали, и я безжалостно резал и выжигал длинноты, псевдокрасоты и славянизмы «Записок», упрощая и уплощая язык автора, дабы сегодняшней досужий любитель литературы мог хотя бы отчасти понять то, о чем он нам хочет поведать, своим «читателям и друзьям будущины» по его же терминологии. Само собой разумеется, что мне пришлось не только упрощать язык Арсенка Осьмачки, но и несколько беллетризировать текст, делая его удобным и связным для досужего чтения современного человека, с присущими ныне всем нам фрагментарностью и клиповостью мышления и восприятия (или по слову литературного критика Сергея Чупринина – «фейсбучностью» нашего сознания).

И последнее, – об этнической терминологии. Народы, населявшие Речь Посполитую, а также жившие по соседству, назывались вовсе не так, как теперь. Поэтому предваряя законное недоумение читателей, укажу историческое, а затем – современное наименование народностей, о которых поминается на этих страницах:

русские, русины – малороссы, затем украинцы;

литовцы, литва – белорусы;

москвиты, москва и производное от «москвы» москали – русские, россияне;

жмудь – литовцы, жители сегодняшней области Жемайтия и в целом Литвы;

жиды – евреи.

Приходится особо артикулировать на термине этом ввиду ранимости определенной части нашего общества и напомнить, что *жид*, *жидовин* и прочие являются производными от польского *Żyd*. И в прошлом, и в настоящем – это *официальный термин* в польском языке и в литературе. Никакого другого обозначения *еврея* нет в Польше. Термин и слово не несут ника-

кой эмоциональной нагрузки и пренебрежительной окраски, как может показаться кому-то, и *используются во всех официальных документах* Польской республики до сего дня. Для русского уха, может быть, звучит не очень хорошо, но такова историческая реальность, которой мы следуем;

ляхи – поляки;

османы – турки;

волохи – румыны и молдаване;

угры – венгры;

одни только татары так и остались татарами.

1. Черная рада, Чигирин, 1594

Мягкий, желт, как липовый цвет, медок на дне кухля. Цедя глоток за глотком, он отчего-то припомнил деда своего прозвищем Наливая, осавула при Шахе еще, знатного пияницу-питуха той славной, сгнувшей ныне козацкой поры. Улыбнулся в усы, не отнимая кухля от пересохших уст, – хлебал дедуган чиколдуху-мокруху вволю, однако и справу свою знал: пахал черноземлю и густо сеял хлеба, правил козацкий правож, обустроивал родные пределы и аулы крымские воевал, когда наступала войсковая страда, – с бою брал городки и глинобитные крымские крепостицы, и на вечерней заре своей жизни дошел было до самой Кафы с летучим, легким стариковским отрядом – и в шестьдесят своих лет все еще молодецествовал Наливай, – в Кафе же и был страчен жестоко. Как липовый цвет к маковке лета...

Хорошо, не знали отец с матерью особицы лютой той казни: надрезали стариковскую кожу, стянули чулком, обнажив лиловые, все еще крепкие в старости мышцы, или по кусочку рубили пальцы, руки, стопы, голени, ноги, или еще что-то лютое придумали вороги в Кафе, – «Мне отмищение...» – и нам тоже – отмищение...

Павло прищурил на высокое солнце глаза.

Пусты небеса, глубоки. Словно неосажное синее око с расчиненной в предвечной слезе Божьей зеницей. Ты видел, один только Ты и видел, как это было, – тлело в Павле, – и не спас старого деда моего, не вывел его из-под Кафы, – ему пришла пора умереть?.. Да, скорее всего это так, хотя нам, оставшимся до поры на земле в этом вот текущем, изменчивом времени – не примириться со знанием этим, как не примириться с другими смертями, не привыкнуть к ним никогда. Жаль только, – думал Павло, – что сыновья (и мой отец среди них) не дознались про то ничего: весь престарелый и в старости легкий как пух дедов отряд разметало под глинобитными стенами Кафы. Как пороховой дым, когда прогремит выстрел и с воем каменное ядро полетит туда, куда пушкарь целился, – двинется тугой ветер невидимым сильным плечом и следа от дыма не останется никакого. Так и от нас, и от наших забот, от нашего подневольного и вольного делания – что останется?

А началось – с пасхального разговения. Запекли женщины дома порося к Великодню, выставили ведро чистой хлебной горилки, – и разговелся на славу от брюха дед Наливай после великопостных молитв и трудов, после пуда соленой капусты и пуда соленых же огурцов, плеснул через край в московитскую полоненную некогда братину из черненого серебра, взятую в давнишнем набеге на пограничный с Речью Посполитой городок Рыльск, со стола воеводы и смел ее в свою дорожную торбу, – и заманулось деду Кафу на приступ попробовать – ласковый шелк, душистый османский табак, звонкие пиастры и румяные дукаты повабили деда. О, хлебная эта горилка, прозрачная, как слеза, затуманила ты око старого Наливая!..

Сыны с вервием бросились деда вязать – да куда там, справишься разве? Был бы чужой – успокоили бы кулачищами да плашмя саблю в лоб неразумный, а на батька – мыслимо ли руку поднять? Разметал сынов по кутам: чуть ли не гикнул страшное слово проклятия «я вас породил – я вас и убью!», цыкнул страшно, вывернув набрякший яростью глаз. Знали они этот погляд – пощады не жди. Свистнул соседских дедов – из поредевшей от времени и войны наливайковской сотни: «Покажем, панове, сим недоумкам ни на что не пригодным, як Кафа аллаха свого благае за жизнь!..»

Дед Сиромаха, дед Выпивайло, дед Миняйло, дед Бастрюкайло, дед Выверникожух, дед Крыса, дед Червонець и иншие с ними деды – и дед Наливай-осавул, – помни же их имена.

Сладок мед, но горько в душе. Пуст окоем и затаилась земля. Полуденный ветер ласков и шелковист, как трава. В знойном мареве висят черные птицы. Скоро им будет корм и пожива. И здесь я тоже не властен, думал Павло, разве я вольно выбираю войну? Прежде – дед Наливай. И я простил ныне Кафу, хотя в том бою с сыновьями его, моими дядьями, я сидел под тем пас-

хальным столом, что трещал от ударов их ног и рук, и помню, как ошметки пороссячьего мяса сползали со стены, – я простил, когда старое и родное тело его разъяли среди равнодушного татарского говора на площади Кафы, а с ним – и тех дедов-добровольцев, кто не погиб под стенами от пальбы и был взят в полон. Никто не знает, чего это стоило мне. Трудно и невыносимо вот это: *«Ненавдящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче...»*, хотя чистой беззлойной детской душой, в козачатах еще, поклялся пройти дедов путь через Дикое поле и устроить поминальную тризну в той клятой Кафе... И замирился ныне с ханом на том, чтобы ясырь в пограничье не брал, – да чего стоят ханские обещания?.. Потому что где ему его еще брать, как не на наших землях? Знаю, знаю, братья мои, что ненадолго все это, потому что без живого товара оскудеет этот Богом отринутый Крым. Но мне нужно отдохнуть и собраться, всем нам – отдохнуть и собраться, потому что грядет с другой стороны другая беда...

Он допил последние тягучие капли, утер уста рукавом и наклонился с седла, протягивая кухоль безродной девчонке, вынесшей ему из нарядной мазанки-хаты утолить дорожную жажду.

«Спасибо, доню...» – сказал привычно, забывая уже и медок, и ее самое, и ждущие чего-то глаза, глядящие на него неотрывно. Голубые и чистые.

Он и названия цвета такого припомнить не мог – загрубела, как невыделанная шкура, душа у него за белесым, жарким огнем пылающих сел, за многой кровью, прибывшей за недолгий век его на земле. Разве что в храме, во время высокой и пронзительной литургии, наступал мир и упокоение в душе у него – и светлела печаль, и все то, что лежало за каменными церковными стенами, обретало название, место и смысл, и тогда, неведомо как, душа будто стремилась к истоку, и близилось детство из памяти, из черной бездны его одиночества и молчания – голубое, чистое, светлое. И он знал, как жить ему дальше, но и не жил, когда выходил на паперть, привычно и уже отстраненно бросая несколько шелягов в черные ладони нищего-жебрака. И отъезжая от храма, оставляя за спиной густой гул благовеста, думал уже о насущном и неотложном, в котором предстояло прожить и выжить, и где уже не находилось места высокому этому: *«Ненавдящих и обидящих нас прости...»*

И теперь осадил внезапно коня, крутанул его вправо и наклонился, грозовой тучей навис над девчонкой, глядя ей прямо в бездонную черноту кружалиц-зрачков:

– Чья? – помедлив, спросил.

– Сирота, – сказала она, – со вчерашнего.

Глаза ее были сухи.

– Так плачь же! – негромко сказал.

Она в отрицании повела головой.

Она была еще сущим ребенком, девчонкой – что там она понимала в этом вот мире? Но уже была частичкой народа. Его – разноликого, странного, непокорного – народа со всем присущим ему добрым, злым, глупым и высоким, смешанным во единую взвесь.

Он удивился бы, если бы она заплакала.

Должно быть, сильно тогда хлестнул он коня, потому что обернувшись в дороге, увидел темный запекшийся рубец на крупе – так хлестнул, словно движение в окружающем его душу пространстве могло стереть эту девчонку с земли и из памяти, но он знал в себе глубоко, что теперь ему уже никуда не уйти от ее молчаливого взгляда, как и ей не уйти от своей неисповедимой сиротской судьбы, – и ее безымянное подорожное имя сливается неотступно с прозвищами тех давних дедов из его малолетства, сложивших неразумные головы под стенами Кафы, и с именами сотен и сотен других, ставших попорванным прахом, разметанным по широким безгласным степям.

«Ненавдящих и обидящих нас...»

На чигиринской белопыльной дороге, в скляной затаившейся и обманчивой тишине, в кромешном окрестном безлюдье его обступали безотчетные думы, сгущающиеся прямо из

застывшего полуденного воздуха. Душа будто грузнела и в тяжести каменела. Он предчувствовал, что и как будет на черной раде в Чигирине, куда стекались козацкие полки и войсковая старшина. Путь на Черкассы был перекрыт. Жолнеры польного гетмана пана Жолкевского стояли на шляхах и тропинах правого – русского – берега, встречая коегождо всадника мушкетной пальбой, хотя, как извещали лазутчики, гетман отдал наказ брать живыми пытающихся пробиться к Черкассам, бить батогами и с кручи сбрасывать в Днепр на потеху. Но жолнеры были ленивы ловить и вязать – легко ли сказать, без пальбы, силой одной остановить конный вооруженный загон, идущий наметом к верхней столице запорожского войска?.. Вот и стреляют свинцом из мушкетов, отгоняя и побивая тех неразумных, кто не знает еще оповестки полковника Лободы.

Павлу перед выездом в Чигирин хотелось побыть одному – он знал от доверенных, что предложится на раде в сиротском безгетманстве их – и потому джур своих он отправил другою дорогою. Был ли готов? Он не знал. Потому что предстоящее дело отличалось от привычных забот, как дюжий добытчик-степняк отличается от хлопчика-козачонка. И в этом отныне, от достигаемого Чигирина, жить ему и трудиться, нынешнему генеральному осавулу, Наливаеву внуку. И, скорее всего, умереть. Мысль о смерти – смутная, солоноватая и в меру тяжелая – не пробуждала в нем страха, не тяготила болью от неизбежности. Никто из живущих в этих пределах от края до края не мог припомнить – за чаркой ли, в долгом походе или на промысле – ни единой покойной в старости смерти козацкой. Не водилось такого, хотя люди – братья, соседи по времени и по заботам любили грешный сей свет, любили землю, на которой они родились для тяжкой хлебной работы и жатвы. Кто из них хотел умереть по воле своей? Разве что сирмаха безродный.

Но так получалось – и с этим ничего нельзя было поделать. Это знал каждый воин, который в затишье ходил за сохой, вспарывая черноземные душистые недра, это знала каждая женщина, носящая под сердцем ребенка для жизни, чтобы в три малых годка посадить младенчика, обряженного в первые свои шароварцы и в крестильную рубашонку, на теплый круп войскового коня за широкую отцовскую спину, и втайне молиться за сына, за мужа, чтобы подольше их смерть не брала... И каждый из них, людей народа его, посполитых и войсковых, был равно готов как жить, так и умереть. Смертью не напрасной и славной для остающихся жить. Потому что нет смерти, когда за тобой в этом сверкающем и удивительном мире живого остается твое доброе, за что отдана твоя жизнь, и остаются те, безмерно любимые, коим ты дал жить в счастье и тяжести времени дней... Может, кто-то продолжит твое дело, пройдет до конца твой путь до цели, до которой ты не дошел. Да и как же иначе, если сыновья, подрастая уже зачастую в сиротстве, знают от материнской утробы те две работы, которые знаешь и ты: хлебопашествовать и воевать, – когда с низовьев Днепра, от Сечи, медной пеной докатится до окоема круглый, как ядро, стон колокола войскового. Так нечего здесь судить и страшиться. Божий промысел на все твои дни, ему и доверься с молитвой. И если судьба тысячеусто избирает тебя на святое служение христианской войны – радуйся, свете, за честь и сражайся без страха.

Глядя в буерачные степи, где стояло в рост человека дурманное, раскаленное зноем цветастое разнотравье, Павлу мог только догадываться, сколько всего видели эти места, как и прочие. Но молчит, от века немая и скорбная, эта земля, дававшая силы прадавним ратным и воям ее. Было ли так?.. «Как жить мне, Мати моя?..» – глубоко в себе, не раздвигая пересохших от степного дыхания уст, спросил он – и вдруг ощутил, как встает в нем малиново пламя, словно бросовую солому ожигающее внутренности, и как огненная течь взвихренно поднимается до головы, охватывая ее раскаленными обручами. Он осадил коня, качаясь, как пьяный, в седле. Высвободил ступню из сереброкованого стремени и на мягких, подгибающихся ногах, удивленный немало слабости внезапной своей, ступил в раскаленные жесткие травы, раздвигая лицом мохнатые пыльные листья и тяжелые грозди желтых цветов.

Солнце валилось с небес белым невыносимым огнем, что смыкался с малиновым пламенем, изнутри жгущим. Пал на колени, уже услышав и поняв, что сказала ему безгласно земля. Уткнулся лбом в нее, горячую, жесткую и до боли родную, заплющил глаза, чтобы былинки, цветы и копошащиеся в травах комах не увидели сухих его слез: да, так и жить тебе ныне, козаче, под бело-малиновым пламенем запорожского стяга, – смирись и приими сей крест, с ним и умри... И видел, различая в зернах земли, в сплетениях былок, в корнях травы, словно глаза его пронизали пространства, – как смотрит издалека на него, сине и светло, с надеждой – Покрова Сичевая, чудотворная и великая войсковая икона, даровавшая не однажды победы над супротивными, – и шелестело, билось под сердцем, плавилось в воздухе предгрозово-м: *«Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющихся нас, да уразумеют, как может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче...»*

Павло тяжело поднялся с колен, осторожно и боязно, словно до краев наполненную чашу, неся в себе отблеск далекого взора Покровы Сичевой. Бурьяны-будяки, сплетшиеся на пути, цеплялись за ступни и голени, опутывали сапоги до колен, враждебно не пуская его. Павло взмахнул нагайкой, взрезав, словно косой, плотную стену сорнячных стеблей, – несколько набрякших сорным и бесполезным семенем желтых головок упало на землю. Сцепив зубы до заушного хруста, он медленно шел к пасущемуся на обочине степного шляха коню. Поморочилось, темнело в глазах. Тронул затерпнувшей и бесчувственной ладонью холку его, хлопнул, лаская, по вороной, с серебристым отливом сильной шее. Фиолетово и крупноглазо конь покоился на господарчую десницу, понимая его.

И уже до чигиринских пределов Павло не смотрел безгодно по сторонам, опаленный бело-малиновым пламенем, падшим в душу с небес. Думал уже о своем. Теперь был готов к предстоящему. Голова, не удручаемая прежде ничем, кроме как верней вывести битву или бой в приграничье, гудела от непривычных, необыденных мыслей. Так припомнилось Павлу все, что слышал он когда-то об иезуитском лазутчике прелате Кунинском, сверкнувшем сатанинским огнем в Варшаве и Львове лет тому много назад, еще при Сигизмунде II Августе; о занявшемся было зареве козацкого восстания и мятежа, когда другой польский король, Стефан Баторий, насильно ввел для украинских русинов римское, еретическое в отступлении, исчисление лет от сотворения мира, затем благоразумно отмененное, дабы предотвратить гражданскую козацкую войну и всенародное сгинение и погибель державы Речи Посполитой. Сейм, собравшийся вскоре после того, подтвердил привилегиями права православного люда, уравнившего с людом подляшским. Но как было верить тем королям, что сидели в Кракове и Варшаве, когда выходили в друкарнях книги Скарги Петра, вредоносные для легких и неукорененных умов письменной молодежи? Смотрел однажды такую книжицу в крамнице еврея, близ Киево-Печерской обители: «О единстве церкви Божией под одним пастырем и о греческом от сего единства отступлении», где отцы его и деды его клеймились отступниками и еретиками за неподчинение римскому папе¹.

«Ну шо, пан молодой, купляешь мыстецтво друкарськэ? – цеплял его жидовин. – Выдано в Вильне... Дуже горазд...» Павло тогда бросил ту книжицу в бочку со ржавой селедкой, плюнул в лицо продавальщику и вышел из лавки.

«Что скажете, святые отцы?» – спросил он печерских чернецов, рассказав о виденной книге.

Старцы печерские только улыбнулись в ответ. Один сказал то, что запомнилось Павлу на всю жизнь: *«Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче...»*

Другой же отговорился примерно таким, что у нас есть свой митрополит в Киеве, а в Константинополе есть и патриарх, – зачем же нам еще ихнего папежа?..

¹ О jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu (Вильна, 1577).

Уже после, пожив много лет, кое-что повидавав, он понял, в чем таилась причина умолчания старцами истины – мудрые и печальные в днях мира сего, достигшие в подвиге и молитве непредставимых духовных глубин, что светились сквозь сухую их плоть внятным светом, познавшие как чудовищные искушения душ и телес, так и всеобъемлющую к людям любовь, они по любви и по опыту не стали смущать его изложением богоотступнического раскольничьего учения, книжной латинской гордыни, – видели, как он молод, доверчив, не мудр и по молодости, по быстротекущим дням и заботам своим в веровании не утвержден, исповедуя едино обряд, – *ичто* ему, завтра уходящему в далекий поход к порубежью, до столь тонких раздумий, как нарушение Символа Веры, или, допустим, что земной, во грешной и грязной плоти человек, называемый *папою* где-то, кто смертен, как всякая вещь на земле, может быть безошибочным в вопросах веры и смутных обычаев, ежели выступает как учитель всей Церкви, отрицая всечеловечью соборность. Да и что это значит – раздумье и размышление – в сравнении с безбрежностью и бездонностью живой, теплой веры?..

Из тех дней, проведенных в обители на богомолье, выпавших на его долю перед первым войсковым выступлением, запомнилось, как сладко-тревожно, что заходило сердце и поморочилось в голове, пахло первое его снаряжение – скрипящая перевязь сабли, сработанная из прочной, выделанной любовно свиной кожи, новое, с блеском, седло – отцов трофей и надбанок, взятый в коронном польском обозе, солнечный клин хищно изогнутой сабли с разводами прозрачного масла, бесшумно входящий в среброчеканные ножны, – перед первым и страшным смертоубийством в бою султанова янычара, так не связавшегося с предыдущим. Что-то как бы сдвинулось в нем навсегда, когда под конским копытом плоско и сыро треснула только что снесенная турецкая голова с раззявленным в прерванном крике разорванным ртом, а он только немного спустя понял, *что* это было, и все летел и летел со вздетой в низкое пыльное небо сияющей саблей в живой и гремучей атакующей лаве, в стуке и в громе копыт, в месиве криков и гнева, в стоне гудящей земли, будто несущей их на широкой, просторной ладони в вечность и упоение от всего, – и только что зарубленный и растоптанный враг-человек, оставшийся далеко позади, замутнял и тревожил какой-то неизбывной виной отчаянную и легкую радость души...

Эту первую смерть от себя Павло не спрмогся забыть. Тогда же, в тех тихих и солнечных днях, случившихся, как глубокое чистое озерцо в сухой и безводной степи, в преддверии всей его жизни, он вынес тонко-тревожное и доныне болезненное чувство своего глубочайшего недостойнства и плотской греховности, удаленности от Христа и даже порой глубокой оставленности в беспробудном сыром одиночестве жизни, которое он ничем не мог утолить, – ни кровавой гульбой в чужестранных пределах, ни многодневным бражничаньем по возвращению на укрепленные днепровские острова, ни вымученными ласками полонянок, ни счастливой женитьбой и жизнью с чернокозой красавицей из-под Гусятина Ганной, родившей ему троих сыновей – Опанаса, Юрка и Тараса. Дни его жизни достигали зенита – приходила полнокровная, несколько горькая зрелость, опыт и мудрость. К ним копилось добро в сундуках, добытое пикой, секирой и саблей, реже – словом договорным со склоняющимися в покорности городами, – тонкие паволоки и с блеском шелка, тяжелые, шитые золотом плахты, венецийские воздушные хустки – для Ганны, а для него, для Опанаса, Юрка и Тараса – наборные уздечки и седла, пистолы с золотыми накладками, бьющие метко, и серебряные пороховницы, уставленные смарагдами и рубинами, да груда немалая полоненных сабель-домах, висящих без дела по стенам хаты и ждущих своего часа.

Поставлены водяные млыны – на Жидувке, на Стыре, на Луге. Есть винокурня под Вишневым. И на круче кормильца-Днепра, от дома подальше, в крепком дубовом бочонке, схваченном железными обручами, зарыты надбанки главных походов: дукаты, взятые в Порте, арабские золотые дирхемы с купеческих кораблей издалека, браслеты серебряные кованые, граненые, червонцы великорусского господаря и царя Ивана IV Грозного, византийские золо-

тые, гнутые плоской, и серебра – без весу и счету – сасанидского светлого, византийского темного, польского, крестоносного, разного... Ганна знала о кладе на Мушиной горе близ Терехтемирова, знала и на что потратить его, когда придет пора выкупать его из татарского полона или еще от какой-либо великой беды. И если бы все это собранное в походах и войнах грело или целило душу его – жить бы и жить. Пусть даже с войной, раздирающей судьбы и земли, – если написаны в предвечной Книге все эти горящие нивы.

Ведь не он выбирал это время, плывущее, как высокие облака, над народом его. Выпало жить и страдать, веселиться и воевать, видя вокруг столько дыма, пожаров, смертей, сиротства и вдовства, – так и живет на этой земле, воюя на четыре стороны света, и казалось ему, что время уже прочно забыть те давние, тихие и сосредоточенные, в меру печальные дни, проведенные в славной обители преподобных отцов наших Антония и Феодосия, когда до нутра содрогали его молодое и сильное тело, приуготовленное к войне, благовестные звоны малиновых колоколов, звавших к чему-то иному, надмирному, свершаемому таинственно в литургии, – и так непохожи на обычных людей, с детства привычных ему по вольнским степным хуторам, были высокие и суровые чернецы, чей путь и чье делание не давались его разумению, но будили глубокое почитание.

Но до сих пор – в одинокой дороге куда-то, чему, как и прочему, завтра не будет ни памяти, ни доброго слова в душе, – тревожил его тот молодой и дюжий козак, стоявший на несколько денном богомолье перед первым своим войсковым выступлением. Павло не мог почему-то забыть, отрешиться от себя самого, каким он был и вельми остался сейчас. Отрешиться и позабыть, – что-то временами шептало в душе, – и живи в полную меру, ты же богаче многих коронных панов, рыщущих жадобно по степям Руси-Украины, ты силен, ты могуч, ты с печатями осавул Запорожского вольного войска рыцарей низовых, что есть реальная сила и власть, но забудь ту мару-вину, нет ее, но – печати, золотые дукаты, винокурня твоя... Тьфу ты, пропасть! – ругался Павло, отжена сатанину детель, что иссекала слабую и беззащитную душу его в шматы.

«Верно твориши, сыну, – сказал ему духовник Запорогов панотец Стефан на исповеди, когда неуклюже и со стыдобой Павло проговаривал свою необоримую муку и искушения детели сатаниной. – Празднуй сию вину недостойности, ибо ею спасешься, если сподобит Господь...»

«Но как же жить, панотче Стефане? – недоуменно спросил Павло. – Дайте раду...»

Потускнел тогда старческий взор древнего исповедника, бессменного сечевика и служителя у Покровы Сичевой, затянулся чисто-прозрачным слезым стеклышком, и, помолчав, старец ответил: «Помни о смерти, друже-козаче, и твори с молитвою свои дни, – даст тебе наш Господь милосердный умереть во славу Свою с покаянием... Ну, а там... свидимся в уповании...»

Ветхие дни исповедника, коего Павло в юности своей знал еще в могучей телесной силе и здравии, подходили к своему завершению. И теперь, на белопыльном чигиринском шляхе, в длящемся и столь бесконечно сиротском безгетманстве православного люда, ради чего он и правил на Чигирин, словно сквозь розовый и рассветный туман, затопивший белесо впадины и ложбины его первых дней на бескрайней груди Запорожья, встало перед взором его, как по оповестке прорвавшегося из вражьей облоги иссеченного козака, рухнувшего замертво с конского крупа на радном майдане, они поспешно выехали в степь к перехваченному крымчаками обозу, в котором, среди прочих, двигался к Запорогам с дальних отхожих треб на затерянных хуторах и зимовниках и панотец Стефан, коего Павло еще не видал, но о котором уже что-то слышал в куренях. Добравшись до злополучного места, с края высокого урвища, круто спадающего в смарагдовую речную долину, они увидели полукольцо рассыпанных, частью уже пограбованных и распотрошенных возов, подле которых металась со ржанием лошади с обрывками постромков. Внутренность полукружья была задымлена густой кисеей пыли – оттуда

доносились победные иноязычные вскрики и одинокий стук сражающегося оружия последнего живого защитника. По всему было заметно, что ордынцы напали внезапно, и шедшие в обозе не смогли замкнуть круга возов, как обычно делали на Запорожье, чтобы обороняться за ними, как за крепостными валами.

В стремительном полете по склону в долину Павло заметил несколько человеческих фигурок, копошившихся в одном из возов, – да, они опоздали, и здесь все уже было закончено, – в глубокой пыли, кисельно сбитой копытами, лежали серые изуродованные тела убиенных – то были пасечники, что везли разнотравные меды к запорожским крамницам, звероловы и рыбаки, шедшие в Сечь со своими надбанками, виднелись среди их простых застиранных полотняных рубах синие и вишневые жупаны козацких детей, шедших с войсковой амуницией на посвящение в христоролюбивое вольное рыцарство Запорожское, но успевших попасть только на свой первый и скоротечный бой, дабы отдать свои юные жизни в подлой татарской резне.

Конные козаки с гиком и посвистом ввалились в окропленное кровью пространство, арканя и пиками прободая взметывающиеся испуганно постати на возах, подле возов, – убегающих, оскаливающих острые крысиные зубки на несущуюся синежупанную смерть. Это с козачатами легко было крымчакам справиться – с детьми, здесь же были уже закаленные, опытные вояки, и козацкие сабли секли воздух на прозрачные большие кубы, подрагивающие и рассыпающиеся в осколки от ветра и криков. Краем набрякшего в ярости глаза Павло приметил на одном из возов сгусток ненавистливой кутерьмы, где одиноко сражался последний защитник, оставшийся живым, – и теперь, будучи в десятке аршин от него, Павло увидел, кто остался в живых. Это был исполинского роста священник в разорванной рясе, высвечиваемый черным столпом над крутящимися меднолицыми всадниками, – горячим серебряным светом сиял наперстный крест на груди у него, распущенные бесцветные волосы светились исходящим огнем, громово и набатно в сабельном перезвоне гудел густой и мощный священнический глас, покрывающий мелкие и как бы неважные в сем мире звуки: *«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и бежат от Лица Его ненавидящие Его...»*

И направо, налево, перед собой гатил запорожский отец окровавленным бердышом по вражеству, повергая всадных людей на рыжую пересохлую землю, жадно вбирающую в свои недра капли черной пролитой крови, раскраивал войновничие черепа неотвратимым и непреложным ударом, гася стынущий возглас *«алла»* во вражеских гортанях, – и похож был на черный и крепкий днепровский порог, омываемый бурной, но бессильной в неправедной ярости паводковой водой. Крымское вражество взять не могло этого человека, будто загражденного от стрел и арканов молитвой. Вздвигнув коня, Павло пикой сбил целившегося из лука в священника низкорослого воина в парчовой хламиде мурзы, что приседал на ближнем возе. Рыжий мурза плашмя грохнулся в пыль, под копыта Павлова коня.

– Так, сынку, так! – грянул священник, отмахиваясь от очередного сабельного удара своим бердышом. – Молись, – и отженем сих бусурман!..

Павло хотел было ответить ему, прокричать что-то сквозь смертную пыль, но спекшееся дыхание не пропускало оболочек словес, копошившихся в нем, и он отерпнувшей, усталой от рубки рукой, уже лезом плашмя, лупил по спинам и лбам разбегающихся как тараканы татар, даруя им жизнь вместо смерти, устав уже убивать.

Остатки чамбула, кто успел вскочить на коней, наметом уходили к реке. Другие же были спутаны вервием – позже их или продадут обратно в аулы, или обменяют на попавших в полон. Спешившиеся козаки привязывали их к возам, на возы же, кроме отбитого майна, поверх него, на чистые, выгоревшие на солнце холстины, клали козаки убиенных пасечников и рыбаков, козацких детей и гультаев, не дошедших до благословенной под небом Сечи. Спешился и Павло, подошел под отцовское благословение к отбросившему бердыш священнику-воину, утомленно и маетно присевшему прямо на землю.

– Прости, сыну, – сказал он, – что благословляю тебя, в немощи сидя...

Тяжелая десница его едва поднялась навстречу ладоням Павла. Теперь, после горячки сражения, Павло смог достаточно его рассмотреть: глаза панотца потухли, ввалились в глубь головы, спрятались под черномохнатыми надбровными дугами, смертная бледность и утомленность лица проступали сквозь серую корку уже ссохшейся пыли, сухие бескровные губы шевелились безмолвно, могучие плечи опали, ссутулились.

– Отче, – сказал с улыбочивой шаной Павло, – вам бы в козаки...

Твердый и отчего-то печальный отеческий взгляд пронизал его до нутра, вскрывшись из-под припорошенных пылью бровей, и тихо-раздумчиво сказал ему запорожский отец:

– По грехам своим и козаком быть недостойн, сынок...

– Но вы же... – начал было Павло, но священник властно остановил его речь неспешным, твердым движением:

– Злых слов да не износят уста твои: лоза не плодопринесит терний...

И спросил время спустя:

– Чей ты, козак? Я раньше тебя не видал.

– Павло, внук Наливая, панотче, – ответил Павло, разворачиваясь на козацкие голоса, галдевшие над паковкой распотрошенных возов.

Священник кивнул:

– Я знал Наливая. Господь да упокоит смятенную душу его...

Сколько лет сплыло во прах и ничтожество с той поры, – и вот слезным стеклом скрыты выцветшие глаза, видевшие все, и могучая плоть обветшала, сносилась, как старая одежда, иссохли подрагивающие теперь, некогда сильные руцы, и – непокой в твердом и неизбывно печальном взгляде панотца, говорящего в другой уже раз:

– Сей виной недостойнства и спасешься, сынок, если попустит Господь...

Сонмища лет талой водой стекли в то, чего больше нет. Что было с ним? Что было с запустевшей этой землей и людьми, живущими под этими безбрежными небесами? Черная, белая и зеленая колея чигиринского шляха, рассекающая волны диких трав, мерно уходила под копыта коня. Будто бы спал, – и плыли в нем разрозненные и перемешанные куски прошлого и отдаленного временем, и звенели прадавние обрывки молитв и обесцененных гетманских универсалов, немо и страшно вставали под веками смертные стычки, коим числа не исчислить, и сияли в блеклом, выжженном небе тканые золотом боевые хоругви, блистали в давнем солнце сабельные клинки, курились дымки из жерл отгремевших свое самопалов и затынных пищалей, и падали, как трава под косой, дети и братья его в смертных белых рубахах, расшитых по грудям красным, черным, зеленым цветами-узорами. Вечная память вам, упокоенные от всего, безымянные, забытые и оставшиеся в распевных думах и песнопениях, вечная память и слава вам, переможенные победители!..

Всего два лета назад, в 1592 году от воплощения Бога Слова, на место загинувшего от татарского ятагана гетмана Скалозуба на большом козацком кругу в славном граде днепровом Черкассах избран был Криштоф-Федор Косинский, урожденный шляхтич, и с того времени, как писали много позже козацкие летописцы, *«началась известная оная эпоха ужаса и губительства для обоих народов, польского и русского, которая, потрясши Польшу до самого основания и колебавши ее более ста лет, низринула, наконец, в бездну ничтожества, а народу русскому давши испить самую горестную чашу, каковую и во дни Нерона и Калигулы не все христиане вкушали, преобразила его в иной вид и состояние»*.

Так напишут спустя двести лет, когда от жизни и делания Криштофа-Федора останется разве что звук, а от делания Павла, Наливаева внука, правящего ныне на Чигирин, останется одна только печальная песня, и все будет похоже на неверный и призрачный след на зыбком песке забытья, что затянет непроницаемо даже самое имя его, и хронографы будущей этой земли, ополоумевшие от потоков крови и слез, что составили бы целый Днепр за те истекшие двести годов, так и не разберутся: как же звали его, зачинателя великой народной истории, коий

был то ли внуком, то ли правнуком какого-то легендарного мифического Наливая, – Павлом или же Северином на польский манер? – и величать, поминать его по церквям и историческим фолиантам будут двумя именами, словно дела его слишком много было для одного человека, для одной головы.

Но ему не дано было проникать взглядом в толщу еще не свершившегося, но предуготованного к свершению. Он, как и те, рядом с ним, прошедшие вскоре по пыльным, окропленным смертным потом шляхам Руси-Украины, из небытия входили в бессмертие, не зная о том. На чигиринской дороге, на пути к славе, смерти и забытию Павло еще смутно представлял себе, что выпадет совершить ему завтра. Да, в крошечке мыслей, где всякого было намешано, находилось место и винокурне, и земным судьбам детей, и в смутке стареющей Ганне, но и вполне ясному размышлению и представлению по множеству неложных свидетельств о том, что же реально произошло с Криштофом-Федором Косинским, коего король лестью своей зазвал в Брест на церковный совет братерский, на котором отцами-иезуитами и продавшимися православными епископами была придумана так званная уния – особливая форма исповедания Христова, приводящая постепенно, по мнению учредителей, из скотского состояния в человеческое, то бишь из православного в католическое, ибо католики первии, а папа их – известный наместник Христа на земле этой грешной.

Разное говорили о смерти Криштофа-Федора, поднявшего голос свой против отступников в епископских мантиях от старожитной религии греческой. Кто толковал, что схвачен был гетман на братерском совете и судим сборищем римским и русским, кои дав ему вину апостата и отступника же, осудили на смерть безотлагательную и, замурававши в некоем кляшторе-монастыре в столп каменный, названный клеткою усмирительной, голодом уморили. Семь тысяч козаков ринулись с оружием к Бресту, сведав о заключении гетмана. Множество польских жолеров встретило их под местечком, называемым Пяткою, преграждая дорогу *к совету братерскому*, где и были наголову разбиты и разогнаны по степи. Но в живых Косинского козаки не обрели и, удовлетворившись разбоем и грабежом панских и иезуитских маетностей, повернули на Запорожье, где был уже дан сигнал ко всеобщей отчаянной брани. Иные твердили, что убиен был гетман Косинский в славном граде Черкассах, за ревность свою к благочестию и спокойствию народному учинившись первою жертвою унии².

Павло в это время служил сотником в надворном войске князя Василя-Константина Острожского и в сражении под Пятком воевал против запорожцев Косинского – через несколько лет пришлось искупать свою вину перед Кошем: вернувшись с добычей из Молдавии, он передал запорожцам громадный табун лошадей о нескольких тысячах голов и свою саблю с предложением либо принять искупление за битву под Пятком против Косинского, либо этой саблей отсечь ему голову. Запорожцы не без колебаний простили его, а после и возвысили служением до генерального осавула. В это время Русь уже набухла тревогой о Церкви и наполнилась разнообразными и невероятными слухами – только слепой и глухой не мог заметить, как посольство вооружается дубинами, косами и гвинтами, как древние старики снимают со стен прихваченные ржой турецкие сабли: казалось, весь народ готовился воевать Корону и мятежных епископов. На Полтавщине горели уже панские усадьбы, освещая глухие, слепые ночные пространства на всем оставшемся пути до Черкасс.

² Так писали летописцы поздних времен, весьма и весьма ошибаясь в датах, совмещая разновременные обстоятельства. Так, даже первая козацкая война, именуемая Острожской, произошедшая при гетмане Криштофе-Федоре Косинском, мотивировалась отступничеством русских епископов на Брестском соборе, который произошел только четыре года спустя и совсем при других общественно-политических обстоятельствах, когда и вторая козацкая война 1594–1596 годов закончилась поражением и разгромом. Я привожу поминания об этих событиях, добытые воистину золотым песком из скудных летописей того времени, не синхронизируя ошибок и произвольных истолкований в датах, в именах и топографических названиях, и таковых несопадений довольно много. Так, к примеру, война 1594–1596 годов в «Хронике Натана Ноты Ганновера – Еврейские хроники XVII столетия» отнесена вообще к 1602 году, ибо составлялась в 30-е годы XVII века, да и для этого хрониста вовсе не важна была какая-то точность – он ведь писал о другом, и волновало другое его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.